# Муса Багаев

**Фридрих Ницше: мученик познания**

Он одинок и лишён всего, кроме своих  
мыслей: что удивительного в том,  
что он часто нежится и лукавит  
с ними и дёргает их за уши!  
— А вы, грубияны, говорите — он скептик.

*Из посмертно опубликованных рукописей*

**1. Несостоявшийся «профессор»**

Сначала краткое curriculum vitae в беглом наброске самоизложения: «Vita. Я родился 15 октября 1844 года на поле битвы при Лютцене. Первым услышанным мною именем было имя Густава Адольфа. Мои предки были польские дворяне (Ницки); должно быть, тип хорошо сохранился вопреки трём немецким «матерям». За границей меня обычно принимают за поляка; ещё этой зимой я значился в списке иностранцев, посетивших Ниццу, comme Polonais. Мне говорят, что моя голова встречается на полотнах Матейко. Моя бабушка принадлежала к шиллеровско-гётевскому кругу в Веймаре; её брат унаследовал место Гердера на посту генерал-суперинтенданта в Веймаре. Я имел счастье быть воспитанником достопочтенной Шульпфорты, из которой вышло столько мужей (Клопшток, Фихте, Шлегель, Ранке и т. д., и т. д.), небезызвестных в немецкой литературе. У нас были учителя, которые оказали бы (или оказали) честь любому университету. Я учился в Бонне, позже в Лейпциге; старый Ричль, тогда первый филолог Германии, почти с самого начала отметил меня своим вниманием, 22-х лет я был сотрудником «Центральной литературной газеты» (Царнке). Ко мне восходит основание филологического кружка в Лейпциге, существующего и поныне. Зимой 1868/69 г. Базельский университет предложил мне профессуру; я даже не был ещё доктором. Вслед за этим Лейпцигский университет присудил мне степень доктора весьма почётным образом: без какой-либо защиты, даже без диссертации. С пасхи 1869 по 1879 г. я жил в Базеле; мне пришлось отказаться от моего немецкого подданства, так как, будучи офицером (конный артиллерист), я не смог бы отклоняться от слишком частых призывов па службу, не нарушая своих академических обязанностей. Тем не менее я знаю толк в двух видах оружия: в сабле и пушках — и, возможно, ещё и в третьем... В Базеле, несмотря на мою молодость, всё шло как нельзя лучше; случалось, в особенности при защитах докторских диссертаций, что экзаменующийся был старше экзаменатора. Большой милостью, выпавшей мне на долю, оказалась сердечная близость между Якобом Буркхардтом и мною — несколько необычный факт для этого весьма чурающегося всякого общения мыслителя-отшельника. Ещё большей милостью было то, что у меня с самого начала моего базельского существования завязалась теснейшая дружба с Рихардом и Козимой Вагнерами, которые жили тогда в своём поместье Трибшен, возле Люцерна, словно на каком-то острове, отрешённые от всех прежних связей. Несколько лет делили мы между собой всё великое и малое; доверие не знало границ. (Вы найдёте в седьмом томе Собрания сочинений Вагнера «послание», опубликованное им мне по случаю «Рождения трагедии».) С этого момента и впредь я познакомился с большим кругом интересных людей (и «людинь» — Menschinnen), в сущности почти со всем, что растёт между Парижем и Петербургом. К 1876 году здоровье моё ухудшилось. Я провёл тогда зиму в Сорренто с моей давнишней подругой баронессой Мейзенбуг («Воспоминания идеалистки») и симпатичным доктором Рэ. Состояние не улучшалось. Крайне мучительная и цепкая головная боль истощала все мои силы. С годами она нарастала до пика хронической болезненности, так что год насчитывал тогда для меня до 200 юдольных дней. Недуг должен был иметь исключительно локальную причину; о какой-либо невропатологической подоплёке нет и речи. Я никогда не замечал за собою симптомов душевного расстройства, даже никакого жара, никакой обморочности. Мой пульс был тогда столь же медленным, как пульс первого Наполеона (=60). Моей специальностью было: в течение двух-трёх дней напролёт с совершенной ясностью выносить нестерпимую боль cru, vert, сопровождаемую рвотой со слизью. Распространили слух, будто я в лечебнице для душевнобольных (и даже умер там). Нет большего заблуждения. Зрелость моего духа приходится как раз на это страшное время; свидетельство — «Утренняя заря», написанная мною в 1881 году, когда я пережил зиму невообразимо плачевного состояния, оторванный от врачей, друзей и родных. Книга служит для меня своего рода «динамометром»: я сочинил её с минимумом сил и здоровья. С 1882 года дела, разумеется весьма медленно, начали снова поправляться: кризис был преодолён (мой отец умер очень молодым, как раз в том возрасте, в котором я сам был ближе всего к смерти). Я и сегодня нуждаюсь ещё в крайней осторожности: ряд условий климатического и метеорологического порядка оказывается непременным. Вовсе не выбором, а неизбежностью является то, что я провожу лето в Верхнем Энгадине, а зиму — на Ривьере... В конце концов болезнь принесла мне величайшую пользу: она выделила меня среди остальных, она вернула мне мужество к себе самому... К тому же я, сообразно своим инстинктам, храброе животное, даже милитаристическое. Долгое сопротивление слегка озлобило мою гордость. — Философ ли я? — Но что толку из этого!..» Остаётся добавить, что к автору этого письма (этой жизни!) Фридриху Вильгельму Ницше — пасторскому сыну, профессору классической филологии Базельского университета и преподавателю греческого языка Базельского педагогиума и потом уже, до последних минут сознательной жизни, одинокому и «*безродному*» скитальцу — как нельзя лучше подходит рассказанная им самим в книге о Заратустре притча о трёх превращениях духа: «как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, младенцем лев». Начало было ослепительным: «старый Ричль... отметил меня своим вниманием». Сказано более чем скромно. Вот отрывок из письма Ричля, рекомендующего на должность профессора... ещё студента: «Среди стольких молодых дарований, развившихся на моих глазах в течение 39 лет, я не знал никого, кто в столь раннем возрасте обладал бы такой зрелостью, как этот Ницше. Если ему суждено долго прожить — дай ему Бог этого! — я предсказываю, что однажды он займёт ведущее место в немецкой филологии. Сейчас ему 24 года: он крепок, энергичен, здоров, силён телом и духом... Здесь, в Лейпциге, он стал идолом всего молодого филологического мира. Вы скажете, я описываю Вам феномен; что ж, он и есть феномен, и притом нисколько не в ущерб своей любезности и скромности». И ещё: «он может всё, чего он захочет». Хотения на этом — начальном — отрезке жизненного пути вполне совпадали ещё с академическими представлениями о карьере; тон задавала респектабельная imago учёного-специалиста, не нарушаемая покуда тревожными сигналами будущей imago «*верблюда*», он и в самом деле мог всё, чего хотел, этот чудо-мальчик и *«канонир 21-й батареи конного подразделения полевой артиллерии»*, смогший в один приём — двумя-тремя статьями — взять штурмом решающие высоты классической науки о древностях. Но — «милый друг, tant de bruit pour une omelette?» (столько шуму из-за одного омлета?) (Письмо к Э. Роде от 1 — 3 февраля 1868 r.), а между тем ничего, кроме «омлета», и не требовала от своих воспитанников безмятежная академическая судьба, посетовавшая однажды устами берлинского академика Дюбуа-Реймона на Фауста, который предпочёл женитьбе на Гретхен и университетской профессуре... рискованные приключения и в общем досадную несолидность. К несолидности — можно сказать со всей уверенностью — эта душа была предрасположена отроду; представить себе Фридриха Ницше этаким «новым Ричлем», доживающим до почтенной седины и углублённо толкующим в окружении учеников какой-нибудь ещё один «*источник*», — картина не менее несуразная, чем семейная фотография доктора Фауста с женой (Гретхен?), детьми и внуками; в письме, отправленном Якобу Буркхардту 6 января 1889 г. из Турина на четвёртый день после начавшейся эйфории, стало быть уже «*оттуда*», ситуация получит головокружительно-«*деловое*» разъяснение, где «*сумасшедшему*» — этой последней и уже сросшейся с лицом маске Ницше — удастся огласить буквальную мотивацию случившегося: «Дорогой господин профессор, в конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своём личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира». Понятно, по крайней мере в ретроспективном обзоре, что всё должно было зависеть от сроков появления на сцене «*искусителя*»; в этом случае их оказалось двое; все предсказания и надежды старого Ричля обернулись химерами в момент, когда юный студиозус впервые раскрыл том мало известного ещё и не пользующегося решительно никаким доверием в университетских кругах философа Шопенгауэра. «Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав первую его страницу, вполне уверены, что они прочитают все страницы и вслушаются в каждое сказанное им слово... Я понял его, как если бы он писал для меня». Отвлекаясь от всего, что мог бы вычитать из сочинений родоначальника европейского пессимизма этот многообещающий вундеркинд филологии — а вычитал он из них ровно столько, сколько хватило ему впоследствии для уличения недавнего кумира в фабрикации фальшивых монет, — одно оказалось усвоенным сразу же и бесповоротно: вкус к маргинальности, исключительности, уникальности. Едва ли, впрочем, дело ограничивалось здесь чтением в обычном смысле слова; Шопенгауэр был не столько прочитан, сколько вчитан в жизнь и судьбу, вплоть до катастрофических изменений в её темпе и ритме — «кто пишет кровью и притчами, — скажет Заратустра, — тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть»; можно было бы уже тогда позволить себе некоторые рискованные догадки о том, чем бы мог стать *так* заученный наизусть автор «Мира, как воли и представления» с его неподражаемо ядовитым презрением к «профессорской философии профессоров философии» в жизненных судьбах этой родственной ему души. Встреча с Рихардом Вагнером в ноябре 1868 г. оказалась решающей; маргинальность, исключительность и уникальность предстали здесь воочию, in propria persona; это была сама персонифицированная философия Шопенгауэра, и — что важнее всего — персонифицированная не через почтенные отвлечённости «четвероякого корня закона достаточного основания», а в гениальной конкретизации 3-й книги 1-го тома «Мира, как воли и представления», т. е. через *музыку*, этот единственный по силе адекватности синоним «*мировой воли»*. Потрясение, несмотря на разницу в возрасте, было обоюдным: 56-летний композитор едва ли не с первой встречи расслышал в своём 25-летнем друге героические лейтмотивы ещё не написанного «Зигфрида»: «Глубокоуважаемый друг!.. Дайте же поглядеть на Вас. До сих пор немецкие земляки доставляли мне не так уж много приятных мгновений. Спасите мою пошатнувшуюся веру в то, что я, вместе с Гёте и некоторыми другими, называю немецкой свободой». Понятно, что такой призыв мог быть обращён именно ко «*льву*», и более чем понятно, каким разрушительным искусом должен был он откликнуться в «*молодом льве*» (впечатление Пауля Дёйссена, школьного друга Ницше, относящееся к этому периоду), «*льве*», всё ещё прикидывающемся «*верблюдом*» во исполнение заветов науки. Попадание оказалось безупречным во всех смыслах: спасти веру в «*немецкую свободу*», и не чью-либо, а веру творца «Тристана» и «Мейстерзингеров», и не просто творца, а творца непризнанного, гонимого, третируемого, всё ещё божественного маргинала и отщепенца в культурной табели о рангах XIX в. (будущий разрыв с Вагнером символически совпадёт с ритуалом канонизации байрейтского принцепса и торжественным внесением его в реанимационную мировой славы — не без решительного и парадоксально-коварного содействия его юного апостола), — всё это не могло не вскружить голову. Прибавьте сюда ещё и то, что в «*молодом льве*», терзающемся своей блистательной «верблюжестью», сидело самое главное действующее лицо, настоящий протагонист всей этой жизни, не сходящий со сцены даже и тогда, когда вконец совращённые им прочие её участники все до одного очутились в базельской, а потом и в иенской лечебнице для душевнобольных, и продолжающий вплоть до физического конца, но уже на опустевшей сцене разыгрывать действительное на этот раз *«рождение трагедии из духа музыки», — музыкант.* Музыкант не только в переносном, но и в прямом смысле слова: автор множества музыкальных композиций и песен, об одной из которых как-то «весьма благосклонно» отозвался Лист; несравненный импровизатор — уже много спустя, после разрыва отношений, Козима Вагнер будет с удивлением вспоминать фортепианные фантазии «профессора Ницше», а Карл фон Герсдорф, школьный друг, рискнёт утверждать, что «даже Бетховен не смог бы импровизировать более захватывающим образом», — переносный смысл, впрочем, оказался здесь более решающим, чем прямой: давнишняя мечта романтиков, волшебная греза Давидсбюндлеров о сращении слова и музыки, высловлении музыки — и не в подражательном усвоении внешних красот, а по самому существу и «*содержанию*» — обрела здесь едва ли не уникальную и, во всяком случае, шокирующую жизнь; «если бы богине Музыке, — так означено это в одном из опубликованных posthum афоризмов времён «Заратустры», — вздумалось говорить не тонами, а словами, то пришлось бы заткнуть себе уши». Скажем так: в этом случае ей и не приходило в голову ничего другого; первое — хотя и официально-сдержанное, но уже камертонно-загаданное наперёд — затыкание ушей произошло с выходом в свет посвящённой, формально и неформально, Рихарду Вагнеру книги «Рождение трагедии из духа музыки» (1872). «Невозможная книга» — такой она покажется самому автору спустя 15 лет; такой она показалась большинству коллег уже по её появлении. Виламовиц-Мёллендорф, тогда ещё тоже один из претендентов на «*первое место*», удосужился написать специальное опровержение; Герман Узенер счёл уместным назвать книгу «совершенной чушью» и позволить себе такой резолютивный пассаж перед своими боннскими студентами: «Каждый, кто написал нечто подобное, научно мёртв»; даже «*старый Ричль*» не удержался от по-отцовски мягкой журьбы в адрес своего любимца: «остроумное похмелье» (geistreiche Schwiemelei). Хуже обстояло с делами университетскими: студенты-филологи сорвали своему идолу зимний семестр 1872/73 г.; можно догадаться, чем шокировала эта дважды в столь различных смыслах «невозможная книга». Едва ли решающую роль играла здесь виртуозная лёгкость (ну да, импровизационность!) исполнения, ещё меньше должна была смущать резкость оценок в связи с Сократом («*декадентом*») и вообще «сократической культурой». Ф. Ф. Зелинский отвёл в своё время эту причину тонким напоминанием о так называемой Prugelknabenmethode, распространённой как раз среди немецких филологов, когда учёному дозволяется в целях своеобразной профессиональной релаксации избирать себе какого-нибудь героя древности в качестве «*мальчика для битья*». Такого Сократа — кого угодно — автору «Рождения трагедии» простили бы; непростительным оказалось другое: нарушение классических единств, где афинская древность врывалась в злобу дня, где ликующе-кровавое шествие бога Диониса переносилось из мифической Фракии в современность, где — короче говоря — кончалась наука о почве и судьбе и дышали сами почва и судьба. «Я нарушаю ночной покой, — так будет сказано впоследствии, хотя и в связи с другой книгой, но всё ещё и всегда и в этой связи. — Во мне есть слова, которые ещё разрывают сердце Богу, я — rendez-vous опытов, проделываемых на высоте 6000 футов над уровнем человека. Вполне достаточно, чтобы *меня «понимали»* немцы... Но бедная моя книга, как можешь ты метать свой жемчуг — перед немцами?» Это уже рык «*льва*», изготовившегося к последнему прыжку в «Kinderland» — «*страну детей*», пятнадцатилетием раньше дело шло всё ещё о втором — промежуточном — превращении; «ибо истина в том, — так скажет Заратустра, — что ушёл я из дома учёных, и ещё захлопнул дверь за собою». Одного вагнеровского восторга («Я не читал ничего более прекрасного, чем Ваша книга») оказалось вполне достаточно, чтобы перевесить внутренний разрыв, — внешне маскарад «*профессуры*» продлится до 1879 г. и оборвётся... по состоянию здоровья; впрочем, когда в начале 80-х гг. здоровье временно улучшится и встанет вопрос о «*трудоустройстве*», университет займёт уже жёсткую позицию отказа. «И когда я жил у них, я жил над ними. Поэтому и невзлюбили они меня». Сомневаться на этот счёт не приходится; но вот что интересно: «*научно-мёртвое*» «Рождение трагедии» оказалось книгой во всех смыслах эпохальной, скажем так: не в последнюю очередь и научно-эпохальной. Эта мастерская увертюра в слове, мерцающая коричнево-струнным золотом тристановских хроматизмов и неожиданно протыкающая их носорожьими вырёвываниями меди («Скажу снова, в настоящую минуту это для меня невозможная книга».), виртуозно фугированный контрапункт, разыгрывающий шопенгауэровскую дихотомию воли и представления в смертельно-бессмертном поединке двух греческих божеств, чисто юношеский Sturm und Drang знающего себе цену гениальничанья (достаточно безумного — скажем мы уже из нашего века словами авторитетного естествоиспытателя, — чтобы быть истинным), — превзошёл все ожидания. В самом скором времени стало очевидным; музыкальность книги не помеха научности, а трансфигурация самой научности (скрыто, но оттого не менее строго обосновывающей основные тезисы автора) в новую научность — хоть и отягчённую всё ещё мимикрией «*северной*» серьёзности, но вполне уже обещающую качество провансальской весёлости. Дело шло не о филологии, ни об эстетике, ни даже об «*анти-Александре*», Вагнере, — дело шло об открытии Греции, греческой «*энигмы*», той самой «*рогатой проблемы*», которая прикидывалась в веках обсахаренной дидактической виньеткой в назидание юношеству и целым кладезем сюжетов в эксплуатацию придворному вдохновению, — стало быть, не просто об открытии, а о разоблачении Греции и в ней — самих истоков и будущих судеб Европы. То, что властным косноязычием разрывало просодическую ткань последнего Гёльдерлина, о чём спорадически догадывались отдельные и наиболее рискованные «*неформалы*» века, предстало здесь во всеуслышание и, больше, как пугающе ясная «*концепция*»: впервые эллинский феномен диагностировался в опасном измерении психопатологии, где винкельмановско-шиллеровская гипсовая Греция оборачивалась бесноватым оскалом болезни, а сам «*феномен*» исчерпывался моментами перемирия между двумя богами, ночным Дионисом и солнечным Аполлоном, — по существу настоящей борьбой с собственным безумием под маской олимпийского спокойствия и автаркии. Ещё раз: дело шло не о научной значимости этой ясновидческой диагностики; скорее напротив, от неё и зависела значимость самой науки, — дело шло о новом видении вещей, менее всего — древних, более всего — злободневных; приёмы классической филологии сплошь и рядом преображались в предлоги; сама Греция вырастала в гигантский предлог... к философии Фридриха Ницше. Самой неотвлечённой, скажем мы, и вместе с тем самой радикальной и самой опасной философии из когда-либо бывших. Самой, говоря вслед за ним, одинокой... Уходя из дома учёных, он уходил не в вагнеровский пессимизм, как могло бы поначалу показаться ему самому, ни даже в традиционно понятую Freigeisterei (вольнодумство); будущее «*льва*», сбросившего с себя шлак «*верблюда*», оказывалось в этом случае просто неисповедимым. «Юмор моего положения в том, что меня будут *путать* — с бывшим базельским профессором, господином доктором Фридрихом Ницше. Чёрта с два! Что мне до этого господина!» (Письмо к М. фон Мейзенбуг от 26 марта 1885 г.). Написанные после «Рождения трагедии» «Несвоевременные размышления» (из планируемых двадцати увидели свет только четыре) предстали некой учтивостью «*льва*», расстающегося со своим прошлым, но и не без «ex ungue»; таковы прощальные композиции Шопенгауэру и Вагнеру, таково блистательное покушение на Давида Штрауса, «филистера культуры» («Я нападаю только на те вещи, против которых я не нашёл бы союзников, где я стою один — где я только себя компрометирую».). Впереди простирались считанные годы неисповедимого: «*научно-мёртвый*» дух музыки, которому предстояло ещё доказать первую бурю юношеского вдохновения действительно родившейся из него трагедией.

**2. «Мы, бесстрашные»**

Правы те профессиональные философы, которые пожимают плечами, или разводят руками, или делают ещё что-то в этом роде при словосочетании «философия Ницше». Он совсем не философ в приемлемом для них смысле слова. Кто же он? Говорят: он — философ-поэт, или просто поэт, или философствующий эссеист, или лирик познания, или ещё что-то! Пытаются даже систематизировать его труды по периодам: романтико-пессимистический (от «Рождения трагедии» до «Человеческого, слишком человеческого»), скептико-позитивистический (до — отчасти — «Весёлой науки» и «Так говорил Заратустра») и, наконец, собственно «*ницшеанский*» (последние произведения). Возразить против этого было бы нечего, даже напротив, это могло бы вполне отвечать сути дела при условии, что искомой оставалась бы как раз суть дела. Философия такого ранга и масштаба, как ницшевская, всегда есть рассказ о некоем «*событии*», и если правила систематизации и таксономии распространяются на горизонтальную перекладину рассказа, то лишь в той мере, в какой она пересечена вертикальной перекладиной названного «*события*». Чтобы составить себе теперь некоторое представление о «*событии*» Фридриха Ницше, можно обратиться к следующему сравнению: некто, заглянув в недоступную многим глубину, узрел там нечто, настолько перетрясшее его мозги и составы, что итогом этого стала новая оптика, как бы новый орган восприятия вещей. «Я словно ранен стрелой познания, отравленной ядом кураре: видящий всё». Оглянувшись затем вокруг, он не мог уже застать ничего другого, кроме сплошных *несоответствий* виденному. Если исключить совершенно немыслимый в данном случае конформизм притворства, а равным образом и всяческую богемность как возможные и наиболее вероятные формы реагирования на диссонанс, то останется именно казус Ницше — «больше *поле битвы*, чем человек» (Письмо к П. Гасту от 25 июля 1882 г.). «Чтобы отнестись справедливо к этому сочинению, надо страдать от судьбы музыки, как от открытой раны» — придётся расширить судьбу музыки до судеб культуры, до планетарных судеб, чтобы получить пронзительный, как сирена, *аварийный* лейтмотив ницшевского «*события*». Почтеннейший Ричль едва ли способен был догадаться, какую чудовищную алхимию претерпит в этой душе профессиональная филологическая выучка: работа над источниками и эрудиция! «Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно расставленными потрохами, — мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать им всё, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, весёлость, страсть, муку, совесть, судьбу, рок». Да и только ли Ричль; недоумения росли горой, лопаясь в годах разрывами отношений или формальной консервацией прежней дружбы; ещё раз: простить можно было что угодно, любую выходку распоясавшегося остроумия при условии, что ему, по существу, нипочём «*Гекуба*», та самая «*Гекуба*», вокруг которой и разыгрывается маскарад свободомыслия. Странным образом оказалось, что этой мысли, обязанной, так сказать, ex professo заниматься «*Гекубой*» во исполнение научного долга, ни до чего другого нет дела и в самой жизни; профессионально прочитанный Сократ предстал даже не Prugelknabe Сократом, а злейшим личным врагом, с которым надо было непременно свести счёты, обнаруживая при этом не меньшую страсть и пылкость, чем этого мог потребовать чисто светский кодекс чести. Интервал в двадцать пять столетий сплющивался до... вчерашнего дня; перед открытой кровоточащей раной бессмысленной выглядела любая «*давность сроков*», и в свете лозунга «Вся история, как лично пережитая, — результат личных страданий» возникала ситуация небывалого риска, меньше всего рассчитанная на адекватное восприятие и понимание, больше всего — на кривотолки и удобнейшую подозрительность, где отнюдь не худшим из подозрений смогла бы показаться аналогия с бессмертной выдумкой Сервантеса. Проблема психопатологии у Ницше, породившая в своё время (и всё ещё продолжающая порождать) такое количество вздорно-сенсационной и — в меньшей степени — вдумчиво-осторожной литературы, начинается, если угодно, уже в этом пункте; нет никакой надобности сводить её к злоупотреблению «*хлоралом*» или — того хуже — к рассчитанной на бюргерский трепет леверкюновской мистико-физиологии, чтобы объяснить случившееся; если здесь позволительно *говорить* о патологии, то не иначе как *с самого начала* и не иначе как *имманентным самой мыс*ли образом. Приведённая выше фраза Ницше — подчеркнём это: уже сошедшего с ума — из письма к Якобу Буркхардту лучше, а главное, точнее разъясняет проблему, чем весь разгоревшийся вокруг неё литераторский сыр-бор; да, он охотнее остался бы славным базельским профессором, нежели стал бы Богом — мы поверим ему на слово; весомость этого слова он оплатил юдолью всей своей жизни, — но случилось так, что «*профессор*» увидел нечто такое, чего не видели другие профессора, — скажем по-пушкински: «*одно виденье, непостижное уму*» — или скажем ещё словами того головокружительно-просветлённого объяснения между Заратустрой и жизнью: «И я сказал ей нечто на ухо, прямо в её спутанные, жёлтые, безумные пряди волос. — «Ты *знаешь* это, о Заратустра? Этого никто не знает»», — если вписать это событие в неповторимую полноту контекста личности самого «*профессора*», в знакомое ему с детских лет предчувствие особой судьбы, судьбы избранника, ещё раз — в знакомый ему с детских лет поразительный дар *жить* в возвышенном («Кто не живёт в возвышенном, как дома, — обронит он впоследствии, — тот воспринимает возвышенное, как нечто жуткое и фальшивое»), в третий раз — в знакомую с детских лет атмосферу едва ли не инстинктивно усваиваемой правдивости и честности (мальчиком он услышал из уст одной из своих тёток: «Мы, Ницше, презираем ложь») и ещё во многое другое — «*ницшевское*», — то сумасшествие, настигшее «*последнего ученика философа Диониса*» в Турине 3 января 1889 г., окажется самым устойчивым фактом всей его жизни, «Ich bin immer am Abgrunde» — всегда на краю пропасти... Дон-Кихот? Как вам будет угодно — но уберите отсюда трогательную sancta simplicitas, любого рода потешность и право каждой посредственности на снисходительное понимание; да, Дон-Кихот — но с непременной оглядкой на каждый свой шаг, но умница и беспощадный «*самопознаватель*», палач самого себя («Selbstkenner! Selbsthenker!» — будет сказано в «Дионисовых дифирамбах»), но только и занятый очищением авгиевых конюшен в себе и вне себя («Моё сильнейшее свойство — самопреодоление»), но способный в любое мгновение сбить с толку своего «*Сервантеса*», который и понятия не имеет о том, куда ещё увлечёт его героя, — прибавьте сюда и то, что «*ветряные мельницы*» оказываются вдруг не мельницами вовсе, а самим злом, перемалывающим ум и совесть, и что нападающий на них «*сумасброд*» во всех отношениях знал, на что он посягает. «Европе понадобится открыть ещё одну Сибирь, чтобы сослать туда виновника этой затеи с переоценкой всех ценностей» (Письмо к Г. Брандесу от 13 сентября 1888 г.). «*Событие*» Фридриха Ницше — оп разглядел в идеализме и во всякой морали «*мошенничество высшего порядка*». Исходной интуицией предстал феномен греческой культуры, досократической и уже сократической. Иначе, речь шла о самой жизни и целом сонме «*прилганных*» (hinzugelogen) к ней дрессировщиков и исправителей. Мудрость досократических греков выражалась в том, что, будучи ближе всех к оргиастическому источнику и избытку жизни, а стало быть, к хаосу и безумию (лик Диониса, кровавого бога бьющего через край экстаза), они противопоставляли ему, а точнее, сшибали с ним формообразующую пластику солнечных сил, световые стрелы Аполлона, дабы в самом средоточии единоборства обоих божеств сотворить себе некий *артистический* ковчег спасения; при этом о победе или поражении не могло быть и речи — человеческое существование временно оправдывалось *искусством*, как вооружённым нейтралитетом обоих божеств, больше того, оно подтверждало жизнь самим фактом её *художественной интенсификации*. В этом смысле феномен эллинского артистизма оказывался не богемной прихотью, а едва ли не физиологической потребностью, неким небывалым кунстштюком торжества над жизнью не в ущерб ей, а в наивысшее подтверждение. Это трагическое мировоззрение впервые на греческой почве было разложено Сократом (и его драматическим alter ego — Еврипидом); с Сократа начинается неслыханная тирания разума и морали, вытеснившая жизнь в бессознательное и подменившая её инструкциями по эксплуатации жизни. Чем можно было победить жизнь, не стоя перед нею лицом к лицу, а в обход? Тем, что начали внушать человеку мораль и разумность любой ценой, стало быть даже ценою самой жизни, которая должна была отныне непременно проходить карантин моральной дезинфекции, дабы не выглядеть чем-то бессмысленным и ни на что не годным. Понятно, что при такой оптике нельзя было уже ограничиться одним Сократом; цепная реакция последствий сулила самую чудовищную растяжку тематического поля. Вопрос упирался в личные особенности «*экзаменатора*» и в его аппетиты по части радикализма; в конце концов можно было бы очутиться один на один со всей предыдущей — «за исключением пяти-шести моментов и меня, как седьмого» — историей. В период «Рождения трагедии» и даже ещё «Несвоевременных размышлений» такими моментами казались всё ещё Шопенгауэр и Вагнер; с этими союзниками он готов был к истреблению любых драконов. Тем невыносимее обернулось разочарование и первое испытание одиночеством; реальный Вагнер в самом скором времени стал диссонировать с желанным Вагнером — под маской нового Эсхила скрывался всего лишь заядлый театрал и неподражаемый дизайнер страсти, гениальный обольститель и минотавр юношеских порывов; знаменитое туринское письмо 1888 года, которое ошеломит многих воинственностью разрыва, будет на деле подводить итоги более чем двенадцатилетней антивагнерианы. Тогда, к 1876 году, ситуация прояснялась довольно прозаично и, если употребить его позднюю оценку Дж. С. Милля, «*оскорбительно ясно*»; молодой мечтатель и романтик, несущий в груди «пятьдесят миров чужих восторгов», упустил из виду самый очевидный «пятьдесят первый мир»: оказалось, что новый Эсхил видит в своём беззаветно преданном друге отнюдь не только Зигфрида, но и едва ли не в первую очередь талантливого агитатора и пропагандиста байрейтского гешефта; Петер Гаст приводит характерную реплику Вагнера, относящуюся к июню 1878 года: «Ах, знаете ли, Ницше читают лишь в той мере, в какой он принимает *нашу* сторону!» Достаточно отметить, что уже выход в свет второго из «Несвоевременных размышлений», не имеющего к вагнеровской стороне ни прямого, ни косвенного отношения, был встречен Вагнером с подчёркнутой холодностью, подчёркивающей что-то вроде недоумения хозяина в связи с самодеятельностью слуги. Книга «Человеческое, слишком человеческое», ознаменовавшая de facto разрыв, любопытна, между прочим, как первая переоценка ценностей; Вагнер здесь уже только предлог к разрыву с самим собою, с теми «пятьюдесятью мирами», которые оптом попали впросак при первом же столкновении с элементарной психологией отношений («Мне недоставало знания людей», — скажет он впоследствии). Нужно было кончать с романтикой в себе — безнадёжная задача, впрочем, самой безнадёжностью своей спровоцировавшая такое количество проницательнейшей прозы; придётся — коль скоро об этом уже была речь — вообразить себе Дон-Кихота, с необыкновенной остротой разоблачающего всякое донкихотство, или уже и вовсе разрушительное — Дон-Кихота, который, не переставая быть собою (ибо перестать быть собою выше его сил), становится воинствующим... позитивистом. Рикошет, скажем прямо, невозможный, но так или иначе несомненный для всего «*второго период*а» ницшевской мысли — от «Человеческого, слишком человеческого» до (включительно) первых четырёх книг «Весёлой науки». Ещё раз: разрыв с Вагнером («ибо у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера») открывал перспективу абсолютного одиночества; задача была ясна — великий поход на мораль и ценности прежней истории; но ясным представлялось и другое: такая задача могла бы оказаться по плечу не хрупкому романтику, захлёбывающемуся от чужих восторгов, а великому преступнику ранга Цезаря или Наполеона. Ситуация как бы буквально списана со страниц Достоевского (кстати, знаемого и любимого: «единственного психолога, у которого я мог кое-чему поучиться»); и этому немецкому Раскольникову сподобилось с оглядкой на Наполеона решать ребус собственной жизни: «*тварь дрожащая*» или «*сверхчеловек*»? Контраст, отмеченный решительно всеми свидетелями, — несоответствие между *образом* и *действительностью*. Барон фон Зейдлиц: «Я не знал ни одного — *ни одного*! — более аристократичного человека, чем он. Он мог быть беспощадным только с идеями, не с людьми — носителями идей». В биографии, написанной Э. Фёрстер-Ницше, сохранился эпизод об одной дурной выходке Вагнера в адрес своего молодого друга. «Что же сказал мой брат?» — спросила я робко. «Он не сказал ни слова, — ответил Вагнер, — он покраснел и удивлённо посмотрел на меня со скромным достоинством. Я дал бы сейчас сто тысяч марок, чтобы уметь вести себя, как этот Ницше». Вот обобщённый портрет, воссозданный со слов друзей: «У него была привычка тихо говорить, осторожная, задумчивая походка, спокойные черты лица и обращённые внутрь, глядящие вглубь, точно вдаль, глаза. Его легко было не заметить, так мало было выдающегося в его внешнем облике. В обычной жизни он отличался большой вежливостью, почти женской мягкостью, постоянной ровностью характера. Ему нравились изысканные манеры в обращении, и при первой встрече он поражал своей несколько деланной церемонностью». «*Святым*» — il Santo — таким он казался даже случайным путевым знакомым и простым людям: «Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть *до такой степени* философом...» Сомнений быть не может: трудно вообразить себе случай, который был бы в большей степени чужд и противопоказан породе «*смеющихся львов*» (Заратустра); в конце концов, что же есть ницшевский позитивизм во всём наборе его дальнейших выводков и модификаций, как не чистейший предрассудок романтика, наводящего на себя заведомую порчу в ребяческой надежде испортиться на самом деле! Отпрыск самых лакомых навыков и самоочевидностей традиционной морали, сошедший как бы прямо со страниц Адальберта Штифтера («Бог ты мой, Ницше, — воскликнул однажды Эрвин Роде во время совместного чтения Штифтера, — как похожи на тебя эти юноши! Они ничем не отличаются от тебя; им недостаёт лишь гениальности!» «Виноват, — ответил с улыбкой Ницше, — этим молодцам недостаёт и головных болей!»), он должен был вступить с нею в долгую и изнурительную борьбу, всякий раз побеждая её чудесами стиля и всякий раз проигрывая ей «растущей пустыней» жизни («Die Wuste wachst: weh dem, der Wusten birgt!»). Нужно было спешно осиливать технику переодевания, притворства, маски; альтернатива, заполнившая кризисный промежуток между уже написанным «Рождением трагедии» и ещё не написанным «Человеческим, слишком человеческим», давила мучительной определённостью: либо раскрыть все карты и играть в открытую — да, я постиг сущность морали; она вся покоится на лжи, ибо в основе её лежит что угодно, кроме собственно морального: тщеславие, гордыня, месть, жажда реванша, ressentiment стадного чувства, — но не судите о ней по мне самому, ибо я, Фридрих Ницше, есмь величайшее исключение, никак не подтверждающее правила, — словами «Книги Мёртвых»: я не делал намеренно зла людям... я не говорил лжи пред судилищем правды... я не убивал... я не обманывал... я не оскорблял изображений Богов... я не прелюбодействовал... я не отнимал молока от уст младенцев... я не вынимал из гнёзд священных птиц... я чист! я чист! я чист! — и посему прошу верить мне и дать мне возможность оставаться... славным базельским профессором: преподавать греческий язык и литературу и в то же время проповедовать «*сверхчеловека*» и «*вечное возвращение*» — да, раскрыть все карты и содеять (разумеется, в рамках европейской режиссуры) некое подобие окаянного жеста Раскольникова, ставшего на колени среди площади и целующего землю «*с наслаждением и счастием*»... Нелепейшее «*либо*»; что, впрочем, оно так или иначе предносилось сознанию Ницше, об этом свидетельствует множество прямых и косвенных намёков: «*К морали Я*. — Трудность добиться *понимания*... Каждый поступок толкуется превратно. Чтобы не быть постоянно распинаемым, следует запастись *масками*». — «Это было весной, и все деревья налились уже соком. Идя лесом и полный самых ребяческих мыслей, я машинально вырезывал себе из дерева свистульку. Но стоило мне поднести её к губам и засвистеть, как мне предстал бог, давно уже знакомый мне, и сказал: «Ну, крысолов, чем это ты тут занят? Ты, недоделанный иезуит и музыкант, — почти немец!» (Я подивился тому, что богу вздумалось польстить мне таким образом, и решил про себя быть с ним начеку.) «Я сделал всё, чтобы оглупить их, позволил им потеть в постели, дал им жрать клёцки, велел им пить до упаду, сделал их домоседами и учёными, внушил им жалкие чувства лакейской души...» — «По-моему, ты замыслил нечто более скверное! — вмешался я, — Уж не хочешь ли ты угробить человека!» — «Может быть! — ответил бог. — Но так, чтобы при этом он выгадал для себя нечто!» — «Что же?» — спросил я с любопытством. — «*Кого же*, следовало бы тебя спросить!» — так сказал Дионис и погрузился в молчание с присущей ему манерой искусителя. Видели бы вы его при этом! — Это было весной, и все деревья налились уже соком».

Оставалось второе «*либо*», притом что ничего более противоречивого, даже нелепого, и нельзя было придумать: разыгрывать максимум жизненности при висящем на волоске минимуме личной жизни; этот полуживой и одинокий страдалец, воспринимающий неизбывную физическую боль почти как привычную норму самочувствия, простёрся-таки громадным вопросительным знаком над всей трубящей восклицательностью своего учения, полагая, очевидно, что ему удастся скрыть за «*семью шкурами одиночества*» компрометирующий его лик мученика. Ближайшая маска — «*позитивист*» — оказалась недолговечной; надо было, грубо говоря, наработать мозоли для предстоящей большой работы — пройти некий спецкурс по самоочерствлению или отбыть воинскую повинность по части всего романтически надрывного и ранимого. Уже «Эккерман» (кстати, любимейшая книга) должен был дать автору «Рождения трагедии» недвусмысленные рекомендации на этот счёт. «То необычное, что создают выдающиеся таланты, — сказал Гёте, — предполагает весьма хрупкую организацию, позволяющую им испытывать редкие чувства и слышать небесные голоса. Такая организация, вступая в конфликт с миром и стихиями, оказывается легко ранимой, и тот, кто, подобно Вольтеру, не сочетает в себе большой чувствительности с незаурядной выносливостью, подвержен продолжительной болезненности» (20 декабря 1829 г.). Рекомендация, попавшая в точку: книга «Человеческое, слишком человеческое» вышла с вызывающим посвящением — «Памяти Вольтера». «*Книга для свободных умов*» — в сущности обзаведение новой и вполне транзитной компанией: вместо Шопенгауэра и Вагнера — Ларошфуко, Лабрюйер, Фонтенель, Вольтер, Шамфор, испытанные пятновыводители по части всяческой романтики, героики, морального прекраснодушия. Когда урок будет усвоен и окажется, что афористическая техника ученика не то что не уступает, но и явно превосходит образцы, этот сорт ментальности будет отброшен, как выжатый лимон; уже с четвёртой книги «Весёлой науки» — Sanctus Januarius — всё отчетливее станет вызвучиваться новая модуляция в некую неслыханную тональность («о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он ещё не видел на нотной бумаге, что это как бы насилие над Евтерпой»); во всяком случае, эффект выведения пятен и самоочищения, стало быть саморасширения и самоуглубления, позволит совсем ещё недавнему вагнерианцу и пылкому почитателю Адальберта Штифтера сказать о себе: «Теперь я, с большой долей вероятности, *самый независимый человек в Европе*» (Письмо к Ф. Овербеку от 30 апреля 1884 г.). Или ещё: «Во мне теперь остриё всего морального размышления и работы в Европе». И уже в тональности будущего «*стиля Прадо*»: «Из всех европейцев, живущих и живших, — Платон, Вольтер, Гёте — я обладаю душой *самого широкого диапазона*. Это зависит от обстоятельств, связанных не столько со мной, сколько с «сущностью вещей», — я мог бы стать *Буддой* Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского». Читателя, воспитанного на усреднённых представлениях о масштабе индивидуального и чересчур переоценивающего косметическую семантику скромности, эти заявления, пожалуй, смутят; но когда дело идёт об объявлении войны тысячелетним ценностям и о *переоценке всех ценностей*, было бы более чем странным, если бы subjectum agens этой переоценки представился скромным «*филологом*» или «*философом*», неким «ufficiale tedesco», согласно одной из последних туринских масок Ницше. Заметим: все кривотолки и недоразумения, связанные с именем Ницше, коренятся именно здесь; в сознании среднего (да и не только среднего) европейца он и по сей день пребудет этаким моральным пугалом, от которого впору уберечь юные души; ещё бы, когда едва ли не на каждой странице его последних (начиная с «Заратустры») сочинений можно обнаружить такое, отчего волосы встанут дыбом. Скажем прямо: не только злые перипетии судеб его наследия — о них ниже — содействовали этому, но и сам он, несравненный артист языка, находивший слова, «*разрывающие сердце Богу*», и — коварнейший парадокс! — почти никогда не находивший слов, смогших бы раз и навсегда пресечь лавину будущих кривотолков в связи с собственным добрым именем и глубочайшими интенциями своего учения. Нужно было — однажды и навсегда — отнестись к двум с половиной тысячелетиям европейской морали как к сугубо личной проблеме, т. е. воспринимать их с такой страстью и заинтересованностью, которая могла бы посоперничать с самыми яркими образцами эротической неисцелимости (недаром на страницах «Утренней зари» фигурирует опаснейший образ «*Дон-Жуана познания*»), нужно было во всех отношениях отказаться от личной жизни и стать завсегдатаем духовной истории, неким обывателем платоновского «*умного места*», нужно было, таким образом, перевернуть норму жизни и *годами* навылет жить в том, в чём по профессиональному обыкновению живут считанными часами, — стало быть, отождествить всю европейскую историю с личной биографией, чтобы всё прочее свершилось уже само но себе. Для этого прочего он нашёл удивительно ясную и однозначную формулу: «Я вобрал в себя дух Европы — теперь я хочу нанести контрудар». Тщетно было бы переизлагать философию Ницше на стандартный манер: реконструировать то, что в подобных случаях называется *методом*; метод Ницше равнозначен буквальной греческой семантике слова (метод есть путь) и, значит, самой жизни Ницше. Если бы тем не менее пришлось — с учётом неизбежных потерь-воссоздавать «*объективную*» сторону дела (затея, почти адекватная пересказу шумановских «Фантастических пьес»), то общая схема выглядела бы приблизительно так. Духовное совершеннолетие человека сигнализируется неким кризисным переживанием в самом эпицентре его *Я*. Он осознаёт, что всё его формирование протекало до сих пор как бы без его личного ведома и участия; препорученный с ранних лет мощному традиционному аппарату навыков, норм и ценностей (воспитание, образование, мораль, религия, наука), он с какого-то момента начинает ощущать это опекунство как бремя и личную несвободу, пока наконец не проникается решительной тональностью противостояния. Его лейтмотив отныне — пиндаровское «*стань тем, кто ты есть*», пробуждение личной воли (и, значит, внутренней свободы) сопровождается у него растущим умением говорить «нет» всему общеобязательному и общезначимому и уже постольку не-индивидуальному (der Neinsagenkonner Макса Шелера); в сущности речь идёт о некоем аналоге коперниканской парадигмы: *Я*, вращавшееся прежде вокруг объективного мира ценностей (моральных, религиозных, научных, каких угодно), отказывается впредь быть периферией этого центра и хочет само стать центром, самолично определяющим себе меру и качество собственной ценностной галактики. Невероятность феномена Ницше в том, что он едва ли не первым из европейцев, так или иначе одержимых этой проблемой (тип ренессансного «*виртуоза*», per la grazia di Dio uomo libero в формулировке Пьетро Аретино; из ближайших предшественников — Макс Штирнер), довёл её до немыслимо радикальных глубин и последствий, до — в буквальном смысле — сумасшествия, которое и стало ужасающим критерием истины этого ума: «*лев*», свирепо растерзывающий и растаптывающий всякую общеобязательность (от традиционно понятого «*Бога*» до, скажем, сочинений Герберта Спенсера) в надежде стяжать себе третье, и окончательное, превращение в «*дитя*», просто впал в детство, что означало: *Я* не только не сотворило себе новые орбитальные миры, но и сорвалось с прежней орбиты. Ещё раз: степень погружения в проблему превзошла меру личной выносливости; специфика ницшевского «*контрудара*» определялась почти исключительной имманентностью театра военных действий: «кто нападает на своё время, — обронил он однажды, — тот может нападать лишь на *себя*». Разрушение традиционных ценностей — и здесь дан нам, пожалуй, *первый* ключ к адекватному прочтению — оборачивалось сплошным саморазрушением; эксперимент, к непременным условиям которого принадлежал фактор самоидентификации; говоря грубо и уже как бы под диктовку самого языка, *он был тем, что он бил* — от юношеского Сократа до знакомого нам «*Бога*», пожертвовавшего «*профессурой*». Следовало бы ещё и ещё раз подчеркнуть это обстоятельство, чтобы раз и навсегда избавиться от вульгарного псевдо-Ницше, как от интеллектуального комикса, состряпанного псевдо-праведниками всех стран. Говорят: Ницше — это «*толкни слабого*» и, значит: ату его! Звучит почти как инструкция для вышибал, за вычетом естественного и радикально меняющего суть дела вопроса: о каком это «*слабом*» идёт здесь речь? Вот одно — *чёрным по белому* — из множества решающих мест: афоризм 225 «По ту сторону добра и зла»: «Воспитание страдания, *великого* страдания — разве вы не знаете, что только *это* воспитание во всём возвышало до сих пор человека?.. В человеке *тварь* и *творец* соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть и творец, ваятель, твёрдость молота, божественный зритель и седьмой день — понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что *ваше* сострадание относится к «твари в человеке», к тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, — к тому, что *страдает* по необходимости и *должно* страдать? А *наше* сострадание — разве вы не понимаете, к кому относится наше *обратное* сострадание, когда оно защищается от вашего сострадания, как от самой худшей изнеженности и слабости?» Будем по крайней мере помнить, что философия Фридриха Ницше — это уникальный и всей жизнью осуществлённый эксперимент саморазрушения «*твари*» в человеке для самосозидания в нём «*творца*», названного «*сверхчеловеком*». Нужно было выпутываться из тягчайшей антиномии: мораль *или* свобода, предположив, что традиционная мораль, извне предписывающая человеку целую систему запретов и декретов, могла опираться только на презумпцию несвободы. Выбор был сделан в пользу свободы — скажем так: свободы от морали, но и свободы *для* морали, где мораль изживалась бы уже не командными методами общезначимых императивов, а как *моральная фантазия* свободного индивидуума. Этого последнего шага не сделал Ницше, но всё, что он сделал, и не могло уже быть ничем иным, как подведением к этому шагу. «*Мы должны освободиться от морали*...» — вот что было в нём услышано, и вот что не услышано — продолжение: «...*чтобы суметь морально жить*». Открыть самого себя — и этот миф доподлинно разыгрывал структуру всякого мифа: шагать приходилось по «*трупам*». «Вас назовут истребителями морали, но вы лишь открыватели самих себя». Эксперимент — отметим это ещё раз — катастрофически сорвавшийся, но — что гораздо важнее — всё-таки случившийся.

**3. Лабиринт. Ариадна. Распятый**

«Лабиринтный человек никогда не ищет истины, но всегда лишь Ариадну, — что бы ни говорил нам об этом он сам». Много спорили о ницшевском *стиле*, афористической манере его письма. Объясняли эту манеру его неспособностью к систематическому мышлению, даже состоянием его здоровья (он-де мог работать урывками, в промежутках между приступами боли). Позволительно отдать предпочтение иному, и положительному, объяснению, тем более что именно в стиле Ницше должен, по всей очевидности, скрываться шифр к тайнику его необыкновенно запутанной судьбы. Преодоление человека отчётливее всего запечатлено в преодолении языка; случай Ницше — «*стиль — это сверхчеловек*»; ничто не маскирует и в то же время ничто не выдаёт этого «*посмертника*» (der posthume Mensch) лучше, чем причуды и прихоти его письма. Прежде всего афоризм. Оставим в покое всякую систематику; в этом случае о ней не могло быть и речи. Афоризм рождался не из ущерба, а из избытка; небывалость ницшевского опыта, ницшевской оптики воплощалась в этот жанр как в единственно соразмерную ей форму выражения. Что есть афоризм? Скажем так: отнюдь не логика, а скорее некая палеонтология мысли, где по одному оскалившемуся «*зубу*» приходится на собственный страх и риск воссоздавать неведомое и, судя по всему, довольно опасное целое — «*заводить знакомство с господином Минотавром*». Можно сказать и так: некая неожиданная инсценировка мысли на тему схоластических quod libet, подчиняющаяся, поверх логических норм и запретов, неписаным канонам какой-то диковинной хореографии; афористическая мысль относится к систематизированной мысли, как векториальная геометрия к метрической геометрии, как кочевник к домоседу, прыжок канатоходца к правилам уличного движения, мужицкая дубинка к закованному в латы рыцарю, лукавое подмигивание к всесторонне взвешенному доводу, лабиринт к стрелке с надписью «выход». Дразнящий минимум слов при максимуме не на шутку встревоженных «*невыразимостей*», всегда неожиданно распахнутая дверь и вскрик застигнутой врасплох проблемы, некая «*критика чистого разума*» (и вообще всего «*чистого*») средствами... полицейского романа, короче, всегда и везде то самое игольное ушко, через которое, как сказано, легче пройти верблюду, нежели иному из «*специалистов*», — всё это, вне всякого сомнения, создаёт ситуацию непрерывного подвоха и провокации, некое «ridendo dicere severum», где, употребляя формулу аббата Галиани, этого испытанного конфидента Ницше по части цинического, «можно говорить всё в стране, где нельзя говорить ничего, не попадая в Бастилию». Афоризм, понятый так, оказывается не просто литературным жанром Ницше, но и как бы параболой всей его жизни, которая и сама — посмертно — выглядит неким незавершенным фрагментом из наследия; во всяком случае впечатление таково, что жизнь эта уже во внешних своих характеристиках строилась по образцу хорошего афоризма: Ницше-отшельник-скиталец-безродный-инкогнито — что же это, как не живой оригинал и «*натура*» срисованных с себя книжных копий, некий генерал-бас всех нафантазированных им сочинений, в сущности музыкант, который случайно набрёл на словесность и так никогда и не заметил этой своей напасти, подарившей немецкой и мировой прозе небывалые вибрации выразительности. «Я должен научиться играть на своём стиле, как на клавиатуре, но играть не заученные пьесы, а свободные фантазии, свободные в максимальной степени и тем не менее всегда логичные и основательные» (Письмо к К. фон Герсдорфу от 6 апреля 1867 г.). Лучше и не скажешь об афоризме; предстояли долгие скитания по лабиринту тысячелетий, и экипировка должна была отвечать характеру путешествия. Сама дискретность и многоактность текстов имитировала причудливую контрапунктистику лабиринта, оказываясь неким искривлённым смысловым пространством с бесконечно разветвляющимися коридорами и зеркальными комнатами; афоризм позволял мгновенные переключения и притворства любого рода в зависимости от непредсказуемых подвохов лабиринта; надо было уметь не только сохранять мужество, но и перевоплощаться по случаю в кого угодно, стало быть, располагать целым реквизитом *масок*, «чтобы не быть разорванным на куски каким-нибудь Минотавром совести». Здесь, пожалуй, и следовало бы искать разгадку ницшевской противоречивости — самой неприкрытой, самой бесцеремонной и вызывающей противоречивости, какую только знала история европейской духовности. Все таксономические определения, вся табель о рангах философского и вообще культурного порядка списана здесь в театральный реквизит масок; лабиринтный человек — сплошная ходячая провокация и самопровокация, каждый второй шаг которой может быть высовыванием языка каждому первому шагу; он не выдержал бы и мгновения, доведись ему «*зажить*» в какой-нибудь одной маске; оттого он меняет их, выжав из них предварительно максимальную выгоду; оттого он может в смежные доли мгновения слышать небесные голоса и браниться, как чёрт, потешаясь над тем, что только что исторгало слёзы; оттого ему приходится при случае зашибить «*Вольтером*» какого-нибудь «*Леопарди*» и прослыть «*вольтерьянцем*», который через страницу оказывается способным на такую нестерпимо молитвенную тишину, что от «*вольтерьянства*» не остаётся и следа. Короче, здесь можно встретить самые необыкновенные скрещивания и комбинации — настоящее «искусство трансфигурации», которое в предисловии к «Весёлой науке» и отождествляется собственно с *философией*: скажем, Гёте, заражённый Гёльдерлином, или Фридрих Альберт Ланге, автор «Истории материализма», неожиданно соседствующий с изумительными росчерками чисто новалисовской фантазии. Совершенно уникальные неожиданности по этой части ожидают читателя в «Весёлой науке», этой, может быть, самой моцартовской книге в мире, написанной «на языке весеннего ветра», без всякого сомнения, и на «птичьем языке», — книге, редчайшим образом сочетающей в себе глубоко народную, местами даже мужицкую соль с истончённой delicatezza едва уловимых намёков и дуновений, как если бы именно на свирельном фоне пейзажей Клода Лоррена пришлось загулять волынке брейгелевских свадеб. Философу, воспитанному в строгих традициях теоретико-познавательной дисциплины, и в самом дурном сне не приснилось бы, что можно употребить в познание — дурачества и гримасничанье, стало быть, дурачась и гримасничая, — познавать, и причём познавать ту именно микрофизику проблем, которая, как оказалось, и не могла быть познана иначе. Надо представить себе ни больше ни меньше как моцартовского баловня, птичьего кавалера Папагено (в инсценировках «Весёлой науки» он частый затейник), интервьюируемого по части «*морального*»... Необычна уже сама увертюра к книге: «Шутка, хитрость и месть» — мастерский зингшпиль в 63 крохотных актах, настоящий шедевр дидактических капризов и притворствующих «*моралите*», окунающий саму мораль в посвистывающую уленшпигелевскую стихию немецкого языка и демонстрирующий скандальное — на этот раз — рождение *пародии* из духа музыки. Характерная и более чем психологическая параллель: Моцарт, пишущий Папагено уже на смертном одре и даже напевающий его в бреду; послушаем же теперь, как рождался этот Папагено: «Непрекращающаяся боль; многочасовые приступы дурноты, схожие с морской болезнью; полупаралич, во время которого у меня отнимается язык, и для разнообразия жесточайшие припадки, сопровождаемые рвотой (в последний раз она продолжалась три дня и три ночи, я жаждал смерти)» (Письмо к Отто Эйзеру в январе 1880 г.). Это уже нечто совсем закулисное и неинсценируемое — так окупаемая *весёлость*: некий род адской расплаты за «*искусственный рай*» сверхчеловечности — расплаты, которая, впрочем, всякий раз оборачивается неожиданной провокацией к новой книге: «говоря притчей, я посылаю горшок с вареньем, чтобы отделаться от *кислой* истории...»

Лабиринтный человек всегда ищет Ариадну. Философия Ницше, самосведённая к своим первоначальным данностям, есть, в сущности, концентрированный поиск *стиля* — языка, отвечавшего бы онтологии личных превращений и переодеваний; там, где самопервейшей и последней данностью выступает глубокое *анонимное* страдание, страдание, обернувшееся *лабиринтом*, — единственной и едва ли уже не инстинктивной ставкой на какую-то компенсацию остаётся *большой стиль*, или ритуал самоуподобления «индейцу, который, как бы жестоко его ни истязали, вознаграждает себя по отношению к своему истязателю злобой своего языка». Как vademecum лабиринта, стиль и есть *Ариадна* — наиболее загадочный и интимный символ ницшевской мифологии («Кто, кроме меня, знает, что такое *Ариадна*!...»), наиболее, добавим мы, противоречивый, ненадёжный и абсурдно-увлекательный символ («Мой старый учитель Ричль утверждал даже, что свои филологические исследования я конципирую, как парижский romancier — абсурдно увлекательно»). Ситуация действительно воспроизводит классические интриги жанра новеллистики: подумаем о том, что самым невинным и безвредным персонажем *этого* лабиринта довелось стать... Минотавру, который и вообще играет здесь роль мнимого пугала, назначенного отвлечь внимание героя от реальной опасности. Куда увлекает Ариадна своего Тесея («*рогоносца*», вынужденного делить её с самим Дионисом)? Если она и выводит его из одного лабиринта, то не иначе как вводя в другой, более запутанный лабиринт. «Тесей становится абсурдным, — сказала Ариадна, — Тесей становится добродетельным!»... «Ариадна, — сказал Дионис. — Ты лабиринт. Тесей заблудился в Тебе, у него уже нет никакой нити; какой ему нынче прок в том, чтобы не быть пожранным Минотавром? То, что пожирает его, хуже Минотавра». «Ты льстишь мне, — ответила Ариадна, — но, если я люблю, я не *хочу* сострадать; мне опостылело моё сострадание: во мне погибель всех героев. Это и есть моя последняя любовь к Тесею: я уничтожаю его». Стилистический плюрализм Ницше, с помощью которого он рассчитывал чувствовать себя в лабиринте «*рогатых проблем*» как дома и оградить *Я* от назойливых прикосновений, оказывался настоящим маскарадом стилей, или личин (в собственном смысле «персон»), постепенно вытесняющих само *Я* и грозящих срывом режиссуры. «Задача: *видеть вещи, как они есть*! Средство: смотреть на них сотней глаз, из *многих* лиц»; многоличие, имитирующее лабиринт в надежде преодолеть его таким образом, на деле лишь *удваивало* лабиринт, дважды запутывая *Я* — проблематически и стилистически; с какого-то момента (разумеется так называемый «*третий*» Ницше) стиль начинает приобретать самостоятельность и автономность, так что вконец заблудившегося в нём Тесея пожирает уже не Минотавр, а сама Ариадна. «Ах, друг, временами меня охватывает предчувствие, что я живу в высшей степени опасной жизнью, ибо я принадлежу к машинам, которые могут *разлететься на куски*» (Письмо к П. Гасту от 14 августа 1881 г.). Машина — машина стиля, однажды заведённого и действующего уже вполне *машинально*), во всяком случае обнаруживающего опасную тенденцию опережения сознания и как бы уже пренебрежения сознанием. Ситуация, крайне типичная для «*позднего*» Ницше: глядя на мир из многих лиц, не видеть собственного лица. Когда он, скажем, ругает христианский «*монотонотеизм*» и изощряется в кегельбанно-атеистическом остроумии, зашибая насмерть пустых истуканов, когда он возвещает «*смерть Бога*» и «*восхождение нигилизма*», только топорный и крайне немузыкальный слух не расслышит здесь полифонии смыслового бумеранга, как бы некой семантики *с двойным дном*, где само отрицание неожиданно совращает к новому и небывалому приятию — одной случайно оброненной реплики вроде: «Что *отрицал* Христос? — Всё, что сегодня называется христианским» — окажется вполне достаточно, чтобы разгадать *тональность* ситуации. Опасность коренится в другом: в том, что можно было бы назвать *невменяемостью стиля*, когда машина набирает скорость и становится уже *неуправляемой*. Во «Фрагментах к Дионисовым дифирамбам» это состояние запечатлено в уникальном образе: «Один волк даже выступил свидетелем в мою пользу и сказал: «Ты воешь лучше, чем мы, волки»». «*Вой*» должен означать здесь буквально — *нелепость*: приступы спорадического помрачения, предвещающие окончательный провал. Когда Ницше бранит историческое христианство, когда в спазматическом пароксизме страсти он тщится примерить даже маску Антихриста, смысловая деформация текстов не выглядит ещё столь необратимой, чтобы нельзя было рассчитывать на возможность обратной дешифровки; скажем так: несмотря на разъедающие языковые эрозии, смысловая ткань написанного обнаруживает всё ещё элементы эластичности, нейтрализующие действие написанного герменевтическим противодействием «всего того, что не может быть написано». Иначе обстоит дело, когда, увлечённый нападками, он действительно переходит грань: тягостны и невменяемы страницы, где бесноватый принц Фогельфрай «*воет*» на самое родное и сокровенное в себе, скажем, на Павла, который оказывается здесь «*апостолом мести*» и «*наглым раввином*», хотя в Павле за девятнадцать столетий до Ницше предвосхищено (и преодолено) едва ли не всё ницшеанство в наиболее рискованных пунктах вольнодумства и бунта, включая и буквальное воспроизведение лозунга: «Alles ist erlaubt» — «Всё позволено». Чаемое равновесие двух божеств — ночного и послеполуденного — непоправимо нарушено здесь в пользу ночи; задача — поверх всех гиперболических модуляций и уже во всех смыслах — исчерпывалась как бы примирением *Гёте* и *Гёльдерлина*, ибо от какой ещё открытой раны (за вычетом музыки) мог этот «*несвоевременец*» страдать глубже, чем от непостижимой глухоты Гёте (любимейшего) к Гёльдерлину (любимейшему), и чем могло бы утолиться это чудовищное честолюбие, как не развитием в себе Гёте (который — это будет сказано им со всей определённостью — «*не понимал греков*», добавим: гёльдерлиновых греков) до восторга перед автором «Мнемосины»; итог оказывался обратным: чаемый синтез обоих божеств транспарировал псевдоэстетическим подвохом «*белокурой бестии*», «*бессмертно здорового*» — е tutto festo — Чезаре Борджа.

В метаморфозах Ариадны — стиль как путеводная нить в лабиринте проблем, стиль как лабиринт, — кульминационным предстаёт третье превращение, или *утроение лабиринта*. Поглотив Тесея и став сама лабиринтом, она впервые испытала вожделеющую тоску по... лабиринту; если позволительно воссоздавать биографию Ницше как своего рода *биомиф* (в русле уникальной попытки Эрнста Бертрама, но в ином композиционном ряде), то эта символика окажется основополагающей для всей его жизни. Ранний Ницше — герой в лабиринте с путеводной нитью стиля — и поздний Ницше — герой, преданный стилем, и уже сплошной лабиринт стиля без героя: поистине, «ещё несколько шагов... и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу». Стиль без героя — мы знаем — машина, готовая разлететься на куски; «я не понимаю, — так означено это в одном из последних писем, — зачем мне было так ускорять *трагическую* катастрофу моей жизни, которая началась с *Ессе*» (Письмо к П. Гасту от 16 декабря 1888 г.). Это недоумение рассеивается одной поправкой; речь идёт не о *Я*, а о вышедшем из-под контроля и предоставленном самому себе *совершенном языке* («До меня не знали, что можно сделать из немецкого языка, что можно сделать из языка вообще»), настолько совершенном, что уже как бы и не нуждающемся в «*авторе*», разве что в «*стенографе*»... Вот какой предстает *онтология* этого языка в одном отрывке из наследия, озаглавленном: «Совершенная книга» (приводится в отрывках): «*Совершенная книга*. Иметь в виду: 1. Форма, стиль. — *Идеальный монолог*... Никакого *Я*... Как бы беседа духов; вызов, бравада, заклинание мёртвых... Избегать... всех слов, смогших бы навести на мысль о некоем самоинсценировании… 2. Коллекция *выразительных* слов. Предпочтение отдавать словам военным. *Эрзац-слова* для философских терминов: по возможности немецкие и отчеканенные в формулу... 3. Построить всё произведение с расчётом на *катастрофу*». В дифирамбе «Плач Ариадны» запечатлена последняя трагическая трансфигурация стиля (будем читать: жизни) Ницше: функция лабиринта переходит от Ариадны к самому Дионису («Ich bin dein Labyrinth»), странному богу, требующему от своего единственного ученика уже не книг, а каких-то обрядовых жестов мысли, уже не коллекции выразительных слов, а только танца. Этому атеисту пришлось-таки заречься: «Я поверил бы лишь в такого Бога, который мог бы танцевать»; но, должно быть, танец, предложенный богом-танцмейстером, оказывался уже не под силу надорванному во всех — земных и небесных — смыслах «*сверхчеловеку*»: «Вы не научились ещё у меня, как танцевать насмешку», и притом «на высоте 6000 футов над уровнем человека».

Финал — ритуальное принесение себя в жертву танцующему богу — разыгрывался уже в строгом соответствии с поэтикой катастрофы. Утроенный лабиринт раздавался жесточайшим переутомлением и набегами прострации. Нет более странного зрелища, чем последний метаморфоз лабиринтного человека, перестающего вдруг искать Ариадну и жаждущего... почти яснополянской простоты и бесхитростности. «Формула моего счастья, — он повторит это дважды: в «Сумерках идолов» и в «Антихристе», — Да, Нет, прямая линия, цель...» И ещё один выпад — против предательского стиля: если бы мы не знали, что это говорит о себе Фридрих Ницше, нам, со всей достоверностью, показалось бы, что это говорит о нём... Лев Толстой: «Я только пустослов: а что в словах! что во мне!» И уже как бы в преодоление пустословия — деловой жаргон визионера: «Клянусь Вам, что через два года земля будет содрогаться в конвульсиях» (Письмо к Г. Брандесу от 20 ноября 1888 г.). «Я достаточно силён для того, чтобы расколоть историю человечества на два куска» (Письмо к А. Стриндбергу от 7 декабря 1888 г.). Последний симптом: внезапная демаскировка *Я*, переутомлённого масками и требующего наконец прямой собственной речи, — невыносимое fortissimo самозванств, настоящее насилие над Евтерпой: я ученик философа Диониса; я северный ветер для спелых плодов; я всегда выше случая; я так умён; я пишу такие хорошие книги; я впервые открыл трагическое; я первый имморалист; я изобретатель дифирамба; я слишком новый, слишком богатый, слишком страстный; я обещаю трагический век; я хожу среди людей, как среди обломков будущего; у меня впервые в руках масштаб для истин; я впервые могу решать; только с меня начинаются снова надежды; я знаю свой жребий; моя истина ужасна; я первый открыл истину; я тот, кому приносят клятвы; я всемирно-историческое чудовище; я анти-осёл; я рок; я не человек, я динамит, — и уже почти машинально модулируя в тональность «паралича» и «комбинированного психоза» — среда индусов я был Буддой, в Греции — Дионисом; Александр и Цезарь — мои инкарнации, также и поэт Шекспира — лорд Бэкон; я был напоследок ещё и Вольтером и Наполеоном, возможно, и Рихардом Вагнером... Я к тому же висел на кресте; я Прадо; я также отец Прадо; рискну сказать, что я также Лессепс... и Шамбиж; я каждое имя в истории. Это — настоящее заговаривание лабиринта, исступлённый шедевр чисто эгографического экзорцизма, как бы бессознательно испещряющего стены лабиринта (уже усыпальницы) магическими речениями «Книги Мёртвых», — последний подвох самосознания, отданного на заклание темпу: «*Мой девиз: у меня нет времени для себя — вперёд*!» Тут только и забрезжил выход из лабиринта, и выходом этим оказалась... Голгофа. «Другу Георгу! После того как ты открыл меня, невелико было искусство найти меня: трудность теперь заключается в том, чтобы потерять меня. Подпись: *Распятый* (Der Gekreuzigte)» (Письмо к Г. Брандесу от 4 января 1889 г.). Или ещё: «Моему маэстро Пьетро. Спой мне новую песнь: мир просветлён, и небеса ликуют. Подпись: Распятый» (Письмо к П. Гасту от 4 января 1889 г.). Не будем соблазняться: Распятый могло бы означать здесь — распятый *разбойник* («*Прадо*»): в сущности, прикинувшийся разбойником музыкант, посягнувший решительно на всё абсолютное, кроме собственного абсолютного слуха, и смогший, вопреки себе, расслышать Голос, к которому остались благополучно глухи века традиционной морали и профессорской философии.

**4. Посмертные судьбы**

«В неописуемой странности и рискованности моих мыслей лежит причина того, что лишь по истечении долгого срока — и наверняка не ранее 1901 года — мысли эти начнут доходить вообще до ушей» (Письмо к М. фон Мейзенбуг от 12 мая 1887 г.). Удивительно, что этому одинокому «*охотнику до загадок*», испившему до дна чашу непризнанности и вынужденному, несмотря на крайнюю бедственность, печатать за свой счёт жалкие тиражи собственных сочинений, так и не пришлось хоть однажды усомниться в aere perennius каждой написанной им строки. Пророчество оказалось необыкновенно точным: столетие открывалось оглушительным взрывом ницшемании, словно бы те на последнем дыхании выкрикнутые слова: «*я не человек, я динамит*» — были не эйфорическим саморазоблачением с-ума-сходящего, а самой действительностью, к тому же весьма скромно засвидетельствованной, — какой ещё динамит, когда говорить следовало бы о несуществующем ядерном арсенале! Злая насмешка судьбы: самому аристократичному из мыслителей, индивидуалисту, поддерживающему свою жизнь строжайшей диетой одиночества и презирающему даже театр, в котором «господствует сосед», довелось посмертно побить наиболее внушительные рекорды по части *массового* эффекта и стать едва ли не самым *всеядным* властителем дум начинающегося столетия. Стоит ли и говорить о том, каким невыносимым диссонансом въелась эта всеядность в весь строй ницшевского менталитета; извращение и порча смыслов определялись здесь не столько качеством разночтения, сколько чисто количественным фактором его, — генезис европейского (и после уже и мирового) ницшеанства выглядит скорее всего прискорбной шумихой вокруг некоего аукциона, торгующего духовными «*мощами*» покойного философа и при активном участии самой разношёрстной публики: от университетских профессоров до бойких газетчиков, от новаторов стиля и мировоззрения до начитанных сплетников и сплетниц, от длинноволосой богемы кружков и журфиксов до горьковских босяков. «*Стань тем, кто ты есть*» — какой чудовищной пародией обернулось это тайное взыскание одинокого скитальца в ближайшей инсценировке его посмертных судеб, разыгрывающих как раз обратную картину, словно бы именно ему, гению всяческих провокаций и почётному гражданину Лабиринта, суждено было накликать на себя эту безвкусную и во всех смыслах жалкую провокацию распоясавшегося ницшеанства и многолично стать тем именно, чем он никогда не был, да и не мог ни при каких обстоятельствах быть. В таком горько карикатурном исполнении сбывался подзаголовок, поставленный им к книге о Заратустре: «*Книга для всех и ни для кого*», — сбывалась, точнее сказать, одна лишь первая часть его — «*для всех*» — при кричащем и разрушительном отсутствии «*ни для кого*», только и способном уравновесить и осмыслить невыносимую эмпирику буквально понятых «*всех*». «*Книга для всех*» за вычетом «*никого*» — трудно, пожалуй, сыскать более ёмкую и точную формулу, смогшую бы вместить весь печальной памяти феномен *ницшеанства*, или Сочинений Ницше за вычетом самого Ницше, и это значит: слов за вычетом музыки, музыки за вычетом страсти, страсти за вычетом страждущего, короче, только слов, мёртвых слов, которым он подобрал непереводимый, гольбейновской силы гравюрный штрих: «Ein klapperdures Kling-Kling-Kling» — что-то вроде бряцающего костьми скелета. Скелет оказался на редкость популярным и общедоступным; можно было бы разложить его в однозначном ряде аксиом, одинаково звучащих для уха какого-нибудь изнеженного декадента и какого-нибудь бравого унтер-офицера: сильные должны повелевать, слабые — подчиняться, и ещё: жизнь есть воля к власти, и ещё: мораль есть мораль слабых, мстящих таким образом жизни полнейшей дискредитацией её естественных прав, или еще: нет ничего истинного, всё позволено. Ницше, подменённый «*цитатником Ницше*», врывался в новое столетие лязгом и бряцанием таких вот цитатных костей, невыносимой барабанной дробью, возвещающей Пришествие Варвара, той самой «*белокурой бестии*», от которой, как от контрастной довески к стилю бидермейер, вдруг восторженно обомлели сидящие на викторианской диете культурные обыватели Европы. Больше того, не без комедийных попыток самоидентификации с названной «*бестией*» — ситуация, метко запечатлённая Рикардой Хух в словах: «Многие прикидывались белокурыми бестиями, хотя бестиальности в них не хватало и на одну морскую свинку». Механизм канонизации срабатывал с почти автоматической безупречностью, так что совсем ещё недавнему идолоборцу, обогатившему инвентарь философских аргументов невероятным вполне «*аргументом от молотка*», довелось занять едва ли не самое почётное место в идолатриуме эпохи; дело шло об усвоении простейшего алгоритма, или конвейерной фабрикации образцовых ницшеанцев, стало быть, о голой технике разведения, и, пожалуй, ни в чём не сказалась провокация столь ярким образом, как в этой издевательской диалектике, позволяющей какому угодно интеллектуальному и богемному проходимцу с минимумом средств рассчитывать на ассимиляцию максимума; так приблизительно и становились тем, чем сам он, повторим это, не был никогда: ницшеанцами, оргиастами, выскочками страсти, плагиаторами чужого умоисступления, шумными самозванцами невыстраданной тишины, высокомерными дублёрами незнаемых болей и восторгов, «*сверхчеловеками*» (в сущности, лишь «*сверхгомункулами*»), о которых он, словно бы предвидя их, обронил вещее слово, что они — «*дурно пахнут*».

«Беги, мой друг, в своё уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, свежий воздух!.. Ты жил слишком близко к маленьким, жалким людям. Беги от их невидимого мщения!.. Не поднимай руки против них. Они — бесчисленны, и не твоё назначение быть махалкой для мух... Они жужжат вокруг тебя со своей похвалой: навязчивость — их похвала. Они хотят близости твоей кожи и твоей крови» («Так говорил Заратустра»). Невозможно без содрогания смотреть на этот постепенный и катастрофический слёт ядовитых мух, называемый ницшеанством; «*жертвоприношение мёдом*», каковым по замыслу философа и должно было быть его учение, в самом скором времени обернулось каким-то почти пословичным «*за мухами не видно мёду*» — зловещий образ, определивший на десятилетия вперёд судьбы этой философии. Трудно вообразить себе какое-либо духовное событие (да к тому же ещё такого ранга), которое подверглось бы большим глумлениям, осквернениям, насильственным искажениям; можно было бы вкратце пройтись по некоторым наиболее типичным и задающим тон вехам этого шабаша. Первые трупные симптомы обнаружились ещё прижизненно, когда сошедший с ума философ доживал свои дни в лечебнице для душевнобольных; известны по меньшей мере две попытки, два совершенно бредовых проекта его излечения. Юлиус Лангбен, так называемый «der Rembrandtdeutsche», автор анонимно изданной книги «Рембрандт как воспитатель», ставшей одной из библий немецкого национализма, первым вознамерился спасти эту «прометеевскую душу» и наставить её на путь истинный; план вкратце сводился к следующему: внушить больному, что он принц, отвезти его в Дрезден и создать вокруг него подобие королевского двора, где самому Лангбену была отведена роль камергера и интенданта, на деле — психиатра-инкогнито (удивительно, что только решительным вмешательством Овербека, друга больного философа, удалось пресечь эту ненормальную затею). Аналогичный абсурд почти одновременно возник в голове Альфреда Шулера, мюнхенского «*космика*» и мистагога, близкого к кружку Георге: здесь речь шла о посещении Ницше и исполнении в его присутствии корибантского танца, что, по мнению самого танцовщика, должно было привести к незамедлительному просветлению (на этот раз затея сорвалась за неимением суммы, необходимой для приобретения медных доспехов, т. е. реквизита). Случаи достаточно жалкие и едва ли достойные чего-то большего, чем внимания биографа, не окажись они в лице своих инициаторов зловещими симптомами будущей сатанизации ницшеанства в идеологии национал-социализма: оба, Лангбен и Шулер, вписали свои имена в списки предтеч и духовных отцов гитлеризма, а Шулер, по ряду сведений, оказал и непосредственное личное влияние на слушавшего в 1922 г. его лекции Гитлера. Появление этих фигур в самом преддверии культурной канонизации ницшевского наследия глубоко символично; здесь, пожалуй, и следовало бы искать камертон, по которому настраивалась печальной памяти деятельность «Архива Ницше», этого центра едва ли не всех последующих фальсификаций ницшевской философии. Борьба за Архив, в сущности, за понимание самой философии, разгорелась уже в 90-х гг. прошлого столетия, когда встал вопрос о приведении в порядок огромного количества неопубликованных рукописей и подготовке полного собрания сочинений; руководство Архивом взяла на себя Элизабет Фёрстер-Ницше, сестра философа. Фрау Фёрстер-Ницше — «*любимая сестра*» и «*единомышленница*», «*конфидентка*» и чуть ли не единственная «*ученица*», автор многотомной «Жизни Фридриха Ницше», удивляющей и по сей день техникой вдохновенной бессовестности в перекройке и перестройке этой кровно близкой и духовно чуждой ей жизни; можно только удивляться «*католической*» гибкости, с каковою эта носительница фамильной честности своей протестантской семьи в кратчайший срок разыграла некое подобие Константинова дара и предстала миру аутентичной наследницей того, кто, уходя во мрак, успел-таки предупредить мир о своей «*взрывоопасности*». «Фрау Фёрстер — патологическая лгунья» — от этой оценки Бинсвангера, иенского врача Ницше, как выяснится, был не так уж далёк и сам «брат». Мошенничества не уступали по уровню и качеству архетипам бульварной литературы; нужно было прежде всего обеспечить миф наследственности, и, поскольку реальность оказывалась до противоположного иной, в ход пускались средства самого примитивного и низкопробного подлога, скажем переадресат писем, где «*любимой*» и «*дорогой*» представала уже не мать или какая-нибудь из добрых подруг, а «*сестра*» — неугодные имена в оригиналах устранялись... нечаянными кляксами. Уже гораздо позднее выяснится, что «*любимая сестра*» была, скорее, «*ненавистной*», ограниченное и никак не лабиринтное создание, несущее в себе всю непредсказуемость обывательски-женской энергии («она не перестаёт мучить и преследовать меня», — вырвалось однажды у него в связи с очередной интригой), раздражало и не могло не раздражать во всех смыслах («Люди вроде моей сестры неизбежно оказываются непримиримыми противниками моего образа мыслей и моей философии». Или ещё: «Как можем мы быть родными — вот вопрос, над которым я часто размышлял»). Символичной — не только в жизненных, но и в посмертных судьбах — оказывалась и двойная фамилия: ницшеанство ближайших десятилетий, можно сказать, всей первой половины нашего века правильнее было бы назвать не ницшеанством собственно, а неким *фёрстер-ницшеанством*; Бернгард Фёрстер — «зять», и ещё раз отнюдь не «любимый», — подвёл окончательную черту в отношениях брата и сестры. Гимназический учитель в Берлине, сделавший антисемитизм профессией и чуть ли не призванием, он начал свою карьеру с того, что задевал и даже избивал евреев на улице; женившись на Элизабет Ницше в 1885 г., он переехал с нею в Парагвай, где молодожёны, спасаясь от «*еврейского засилья*», вознамерились основать «Новую Германию», некий химерический аналог пуританских утопий XVII в. Антисемитизм, сыгравший в своё время немаловажную роль в разрыве отношений между Ницше и Вагнером, был, возможно, последней каплей, переполнившей чашу терпения в отношениях с сестрой, на этот раз «*мстительной антисемитской дурой*» (die rachsuchtige antisemitische Gans) (Письмо к М. фон Мейзенбуг в мае 1884 г.). Д-р Фёрстер, запутавшись в многочисленных финансовых махинациях, покончил самоубийством — в год болезни Ницше; оставалась сестра — Фёрстер-Ницше, — олицетворявшая самой этой двуфамильностью многочисленные духовные махинации, которые надолго определили участь ницшеанства.

Махинации не прошли незамеченными. Уже Фриц Кёгель, талантливый редактор первого полного издания, доведший публикацию до 12-го тома включительно, ознаменовал свой протест уходом из Архива; речь шла, в частности, о каталогизации заметок, относящихся к 80-м гг., — заметок, которым с уходом Кёгеля суждено было обернуться пресловутой компиляцией «Воли к власти», этой чистейшей фальшивки, сыгравшей столь решительную роль в псевдоидеологизации ницшевского мировоззрения. Первый тревожный сигнал, оповестивший мир о том, «в чьих руках оказалось наследие Ницше», исходил от Рудольфа Штейнера, долгое время работавшего в Архиве и *отказавшегося* стать редактором заведомо фальсифицируемых материалов; если бы к этим предостережениям, датированным 1900 г. (год смерти Ницше), отнеслись с должным вниманием, то не пришлось бы дожидаться сенсационного издания Карла Шлехты (1956), рассредоточившего так называемую «Волю к власти» и вбившего осиновый кол в плакатно усвоенное нацифицированное ницшеанство.

Задача была проста и в простоте этой рассчитана на безошибочный эффект: сотворить из недавнего истребителя кумиров нового и во всех смыслах отвечающего спросу эпохи кумира. Эпоха, погрязшая в пресностях обязательного рационализма и в его мещански-бытовых проекциях, требовала лакомств и обжигающих приправ, какого-то непременно героического и непременно трагического духовного анекдота, короче, некой «*дионисической*» компенсации своего карикатурно-аполлонического благополучия — стресса, готового выдержать любые издержки ради чаемой остроты ощущений. Расчёт оказывался дьявольски проницательным: коммерческий Ницше, омещаненный Ницше, Ницше, поданный на манер толстовской «Крейцеровой сонаты», в гостиной «с мороженым и декольтированными дамами», действительно и уже в объёме всего творчества сошедший с ума Ницше, ибо зачитанный до дыр, хуже — принятый, хуже — по-своему понятый и обоженный... «*базарными мухами*», настоящий повелитель мух, слетающихся на всё сладкое в мирное время и готовых обернуться весёлыми бестиями в час бойни и смут, — таков был спрос, таков был вкус, и такова отвечающая вкусу и спросу цель. В каком-то смысле подлог выглядел пустячным делом; провокаторская натура *стиля*, впечатляя позициями *фронта*, оставляла без присмотра *тыл*, так что труднейшее для понимания оказывалось одновременно легчайшим для профанации. «*Идеальный монолог*» (см. выше) только и мог быть рассчитан на «*идеального слушателя*»; слушатели, увы, были более чем реальны — и язвительная реплика Ницше об оглуплении христианской идеи в христианах в полной мере оборачивалась против него самого, претерпевшего невообразимый эффект оглупления в ницшеанцах. Не было ничего проще, чем вытравить из текстов музыку, страсть и личность и предоставить тексты самим себе как сплошной бумбум, как свирепую оргию взбесившихся инстинктов, как безвкуснейший философский канкан, разжигающий интеллектуальную похоть образованного обывателя и западающий в память рядом профанированных символов. Если утрудить себя сопоставлением и сравнением двух текстов — сфабрикованной «Воли к власти» и восстановленных в первоначальной последовательности *тех* *же* отрывков, — то качество и масштабы случившегося поразят воображение. Взору предстанут две несоизмеримые картины, относящиеся друг к другу как серия фотомонтажей к естественной жизни лица, как изготовившийся в стойке боксёр к мученику мысли, едва успевающему (в промежутках между невыносимыми болями) заносить на бумагу беспорядочный и в то же время необыкновенно ясновидческий шквал «*истории ближайших двух столетий*». Сомнений нет, этот второй устраивал меньше всего; мысль, рассчитанная на почти смертельное напряжение всех (а не только головного) органов понимания, рассчитанная, стало быть, на некий обязательный акт читательского самопреодоления, чтобы глаза и уши, привыкшие к философским мурлыканьям академического ширпотреба эпохи, перестроились на досократический лад трагического восприятия идей, — эта мысль, ещё раз, устраивала меньше всего; устраивал цитатно оболганный, идеологически оболваненный двойник: устрашающий горлохват в проекции культуркритических сенсаций, обернувшийся бестселлером популярнейший «Заратустра» — третий по счёту идол (наряду с лютеровской Библией и «Фаустом») в рюкзаках отправляющегося на фронт немецкого юношества. Итоги — ещё до второй мировой войны — подводила первая, устами «*противников*». Вот несколько свидетельств, тем более ошеломляющих, что принадлежат они в основном не фельетонистам, а реальным политикам. Лорд Кромер, бывший генеральный консул и организатор Египта (в английской «Spectator»): «Одна из причин, вынудивших нас принять участие в этой войне, заключается в том, что мы должны защитить мир, прогресс и культуру от того, чтобы они не пали жертвой философии Ницше». Роберт Сесиль; «Миссия Антанты — заменить *волю к власти*, это дьявольское учение немца, *волей к миру*». Луи Бертран (во французской «Revue des deux mondes»): война с её разрушением церквей — непосредственное творение Ницше. Худшее, однако, было впереди: осенью 1934 г. Архив посетил новоиспеченный фёрстер-ницшеанский «*сверхчеловек*» — Адольф Гитлер. Встреча протекала в довольно забавных тонах; по свидетельству принимавшего в ней участие Шпеера, «эксцентрично-увлечённая фрау (в возрасте без малого 90 лет. — *К.С.*) явным образом не могла сговориться с Гитлером; завязался необыкновенно плоский, никак не клеившийся разговор», что, однако, не помешало престарелой вдове бывалого юдофоба рассыпаться в восторженных комплиментах перед своим собеседником и даже подарить ему на память трость брата. Механизм идентификации и на этот раз сработал в «*общезначимом*» порядке: в ряду героических «*провидцев отечества*» и «*предтеч*» — Лютер, Гёте, Бетховен, Гёльдерлин, Вагнер (кто ещё?) — автор пресловуто мифической «Воли к власти» занял одно из наиболее видных мест, надолго омрачившее его духовную, да и просто «*человеческую, слишком человеческую*» репутацию.

Эффект этой идентификации зависел по меньшей мере от двух условий — нужно было, во-первых, не утруждать себя сколько-нибудь вдумчивым прочтением текстов, и нужно было, во-вторых, сводить дело к броским и легко запоминающимся обрубкам фраз. В конце концов каждому эпохальному мыслителю приходится выдерживать свой плебисцит — некое испытание прокрустовым ложем обобщений, где речь идёт не о «забытых добродетелях правильного чтения», до которых нет никакого дела торопливому и вечно занятому большинству, а о своеобразной редукции всего мировоззрительного объёма к двум-трём росчеркам в общем и целом — чтобы «покороче и яснее». Этого испытания — скажем сразу же — Ницше не выдержал; да и кто бы выдержал его! Говоря в кредит будущих возможных недоразумений, — он не выдержит его никогда и ни при каких обстоятельствах; слишком чудовищным оказался резонанс первого недоразумения. Дело вовсе не в том, что автор «Заратустры» попал в ряд «*предтеч*» национал-социализма; он, как мы видели, разделял эту участь с достаточно внушительными именами мирового калибра, — дело в том, что эта псевдоидеологическая интерпретация, которой идеологи нацизма, в стремлении обеспечить имманентную и почвенную подоплёку движения, придавали особое значение, оказалась более живучей, чем любая другая, и надолго пережила породившую её причину. Симфонии Бетховена, не в меньшей степени «*работающие*» на режим, чем проповеди Заратустры, даже и не нуждались в послевоенном карантине денацификации, настолько абсурдной могла бы показаться мысль об их запятнанности. Карантин ницшевской философии — плачевнейший факт европейской культуры — частично длится и по сей день, во всяком случае, у нас, где до сих пор ещё не сделано ни одной сколько-нибудь серьёзной попытки пересмотреть этот вопиющий стереотип, в то время как на Западе, после ставших классическими изданий Шлехты и Колли — Монтинари, а также потока публикаций, посвящённых «*казусу Ницше*», просто неприличной выглядит уже столь однозначная и одиозная оценка этой мысли.

Подведём некоторые итоги. Если избавиться от расхожего предрассудка, гораздого навешивать ярлыки на основании отдельных вырванных из контекста (к тому же тенденциозно подобранных) отрывков, — кто, спросим снова, из мыслителей всех времен выдержал бы эту процедуру, не очутившись в стане «*врагов человечества*»? — если, стало быть, брать вопрос должным образом, т. е. в конкретно понятом целом, а не в химерически отвлечённом «*общем и целом*», то нацистский ангажемент Фридриха Ницше обернётся не просто очередной фальшивкой в духе пресловутых традиций Архива, но фальшивкой, абсурдной в обоих — буквальном и аллегорическом (допустив, что до *символа* ситуация не дотягивается) — смыслах. Уже не говоря о холодном и недоверчивом отношении со стороны власть имущих «*философов*» — Альфред Розенберг в «Мифе XX столетия» специально подчёркивает неарийский характер дионисизма и тем самым всего ницшевского мировоззрения, — достаточно обратить внимание на ряд самых существенных диссонансов, чтобы понять, каким бесстыдным образом могло здесь белое выдаваться за чёрное. Кто станет спорить с тем, что нацистская идеология в целом (да и, пожалуй, в общем) сводится к трём основополагающим принципам: *пангерманизму, антисемитизму* и *славянофобии*! Но если так, то не стоит ли в целях окончательного устранения кривотолков проэкзаменовать Ницше именно по этим трём пунктам — с обязательной оговоркой, что речь идёт на этот раз не о предумышленных цитатных вырезках, а о едином контексте всей его философии!

Итак, 1. *Пангерманизм*. — Здесь, за вычетом кратковременного, юношески-вагнерианского «германства», картина до того ясна, что даже самому пристрастному и фанатичному космополиту пришлось бы признать чудовищные издержки и, возможно, призвать автора к порядку. Вот несколько выбранных наугад свидетельств (воздерживаемся от сносок, полагая, что читатель без труда удесятерит их количество при чтении самих текстов): «Немцы — их называли некогда народом мыслителей: мыслят ли они ещё ныне вообще?» — «Deutschland, Deutschland uber alles, я боюсь, что это было концом немецкой философии...» — «Этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет». — «Надутая неуклюжесть умственных приёмов, грубая рука при схватывании — это нечто до такой степени немецкое, что за границей это смешивают вообще с немецкой натурой». — «Определение германцев: послушание и длинные ноги...» — «Происхождение немецкого духа — из расстроенного кишечника.,.» — «Куда бы ни простиралась Германия, она портит культуру». — «По-немецки думать, по-немецки чувствовать — я могу всё, но это свыше моих сил...» — «Не могу ли я предложить слово «немецкий» как международную монету для обозначения этой психологической испорченности?» И уже как бы в прямом предвидении будущих «*господ Земли*» — «*народа, состоящего из 80 миллионов аристократов*» (по меткой формуле Даниэля Алеви), — предупредительная оговорка Заратустры: «Гости мои, вы, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не *вас* ожидал я здесь, на этих горах». Характерный симптом: даже Альфред Боймлер, философ ex officio, основательно потрудившийся над впихиванием Ницше в кругозор горланящих на парадах ландскнехтов, не удерживается от негодования в адрес «*предтечи*». Вот его приговор: «Это — сознательное *предательство*, когда Ницше пишет Тэну в Париж: «Я страдаю от того, что мне приходится писать по-немецки, хотя я, пожалуй, пишу лучше, чем когда-либо вообще писал какой-нибудь немец. В конце концов французы уловят на слух в книге (речь идет о «Сумерках идолов») *глубокую симпатию*, которую они заслуживают; я же всеми своими инстинктами объявляю Германии войну». Нужно смотреть вещам в лицо: Ницше нарочно обращает внимание француза на раздел, направленный против немцев. Это нечто принципиально иное, чем просто пересылка книги, в которой фигурирует названный раздел, — это *поступок*. Измена родине как поступок оглашается и в предпоследней, всё ещё сохраняющей ясность открытке, посланной Овербеку: «Я и сам занят как раз составлением Promemoria для европейских дворов с целью создания антинемецкой лиги. Я хочу зажать «Рейх» в ежовых рукавицах и спровоцировать его к отчаянной войне»». Остаётся лишь догадываться, каковой могла бы быть участь «*изменника*», доведись ему дожить до реалий следующего, им-де накликанного «Рейха»!

2. *Антисемитизм*. — Ещё несколько отрывков на выбор и без комментариев: «Евреи, без сомнения, самая сильная, самая цепкая, самая чистая раса теперь в Европе». «Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы, при всех планах, которые он составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями — и с русскими, — как с наиболее надёжными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил». — «Было бы, может быть, полезно и справедливо удалить из страны антисемитических крикунов». — «Встретить еврея — благодеяние, допустив, что живёшь среди немцев». — «Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом!.. Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. — Бедный Вагнер! Куда он попал! — Если бы он ещё попал к свиньям! А то к немцам!..» Мотив настолько глубокий, что даже в последних, невменяемых туринских письмах речь идёт о «ликвидации Вильгельма, Бисмарка и антисемитов».

И наконец, 3. *Славянофобия*. — Начнём с того, что этот мыслитель, на которого некоторые увлечённые публицисты возлагали чуть ли не решительную вину за идеологию национал-социализма, никогда не уставал подчёркивать — и притом именно в пику соотечественникам — преимущества своего *польского* происхождения. Теперь постараемся представить себе чувства, которые должен был испытать какой-нибудь приверженец названной идеологии при чтении хотя бы следующего признания: «Одарённость славян казалась мне более высокой, чем одарённость немцев, я даже думал, что немцы вошли в ряд одарённых наций лишь благодаря сильной примеси славянской крови». Не умолчим и о самом существенном: когда миссией Антанты провозглашается спасение мира от философии этого «*дьявольского немца*», мы вправе были бы пожать плечами и судить о легковесно-газетном преувеличении в том лишь случае, если фраза действительно исходила бы от полемически зарвавшегося газетчика, а не от реального и к тому же влиятельного политика. Что-то особенное и совершенно небывалое удалось предвидеть в наступающем XX веке этому сейсмографически чуткому провидцу, вскричавшему, как никто, о «*восходящем нигилизме*», об «*эпохе чудовищных войн, крушений, взрывов*», об «*условиях, которые и не снились утопистам*»: «Начинается эпоха варварства; науки будут поставлены ей на службу» или «Наступает время борьбы за господство над земным шаром — она будет вестись во имя *основных философских учений*» — что-то такое, после чего «*миссия Антанты*», пожалуй, покажется нам не такой уж и преувеличенной. «Понятие политики, — так скажет он в «Ессе Homo», — совершенно растворится в духовной войне; все формы власти старого общества взлетят на воздух; будут войны, каких ещё никогда не было на земле». И, наконец, решающее место — своего рода духовное credo и политическая программа, в сущности, выпад *философа*, на которого и ополчится будущая Антанта: «Мелочность духа, идущая из Англии, представляет нынче для мира великую опасность. Чувства русских нигилистов кажутся мне в большей степени склонными к величию, чем чувства английских утилитаристов... Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе, которая не допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего! Сращение немецкой и славянской расы».

И вот — после столь глухого перерыва — снова: *Фридрих Ницше на русском языке*. Трудно передать в слове, что именно могли бы мы испытать при этом, допустив, что мы не стали бы демонстрировать в этом случае академическую выдержку и делать бесстрастную мину при столь неожиданной игре. Должно быть, нечто вроде шока; должно быть, некоторую неловкость (с непривычки), внезапную смятённость и моментальную мобилизацию всего бессознательного горизонта... Ницше, оболганный, табуированный, поражённый в культурных правах, Ницше, обречённый на пиратское существование между спецхраном и чёрным рынком, пущенный на культурный самотёк и всё ещё — сенсационный, подпольный, мушиный; будем надеяться, этому Ницше приходит конец. Мошеннический образ, долгое время служивший прообразом «*сильных*» ничтожеств — от героев Арцыбашева и Пшибышевского до маньяков государственной власти, — безвозвратно сдаётся в архив авантюр века; этой философией, можно сказать со всей уверенностью, не вдохновится больше ни один унтер-офицер. Остаётся иной образ, но — внимание! — отнюдь не безопасный, отнюдь не разминированный, отнюдь не легко перевариваемый: да, всё ещё опасный, взрывоопасный, всё ещё «*динамит*», но — иной. «*Философ неприятных истин*» — так однажды вздумалось ему назвать себя, ещё до того, как истины эти были названы им же «*ужасными*». Какая странная ирония! Десятилетиями мы держали эти ужасные писаные истины под замком, отдаваясь по-неписаному ужасам, в сравнении с которыми они показались бы разве что невинными приближениями; десятилетиями кому-то думалось, что читать «*вот это вот*» опасно, словно речь шла о воспитанных мальчиках, которых надо было уберечь от этой смертельно ужаленной и оттого «*неприятно*» жалящей совести... Опасно? Но не опаснее же самой действительности, которую так разрушительно чувствовал и небывалые вирусы которой впервые привил себе, продемонстрировав на себе их действие, этот человек! Вирусы остаются в силе, и, покуда ещё они будут оставаться в силе, жертве Фридриха Ницше придётся быть не столько философским наследием, сколько злобой дня. Во всяком случае, шифром к ней окажется отнюдь не традиционно понятая философия. О шифре он обмолвился сам, нечаянно выдав собственную тайну, — ещё в первой юношеской своей книге о трагедии: в том самом — захватывающе исповедальном — отрывке, где речь идёт о «*демоне*» Сократа, убийцы трагедии, — демоне, велевшем Сократу слушаться музыки. Трагедия умерла, но трагедия возродится, и символом этого возрождения был бы *отдавшийся музыке Сократ* — ненавистный диалектик, который обменял бы всю оружницу своих аргументов на внезапное чудо — *запеть*... И ещё одно юношеское признание о какой-то книге — в сущности, о всех своих будущих книгах: «По сути дела, это музыка, случайно записанная не нотами, а словами» (Письмо к Софии Ричль от 2 июля 1868 г.). Прибавить к этому нечего. Но какой случайностью можно было бы объяснить странный факт, что меньше всего в этой музыке была услышана сама музыка и больше всего — насильственно отторгнутые от неё и уже не отвечающие за самих себя слова!